РУССКАЯ

МЫСЛЬ.

ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ.

ОКТЯБРЬ.

18605

МОСКВА.
Типо-литогр. Т-ва И. Н. Кушнеревъ и К°, Пимен. ул., соб. домъ.
1908.

РУССКАЯ МЫСЛЬ

ЕЖЕМѢСЯЧНОЕ

ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНІЕ.

ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ.

Библиотека

КНИГА II.

МОСКВА.

1908.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Стр.

I. ПАВЕЛЪ I. Драма въ 5 дѣйств.—**Д. С. Мережковскаго** . . . 1

II. СТИХОТВОРЕНІЕ.—**Л. М. Василевскаго** 71

III. ЕВНУХИ. **Андрея Немоевскаго**.—Перев. съ польск. **В. М. Л.** *Окончаніе*. 72

IV. СТИХОТВОРЕНІЯ.—**В. Малахіевой-Мировичъ** 96

V. ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ. **Сигурда (Хейденшерна.)**—Пер. съ шведск. **М. П. Благовѣщенской**. *Продолженіе* 99

VI. ЛУГА.—**Петра Кожевникова** 140

VII. ТРИСТАНЪ. Новелла **Томаса Манна**.—Перев. съ нѣмецкаго **А. Полоцкой** 150

VIII. СТИХОТВОРЕНІЕ.—**Виктора Стражева** 188

IX. РИХАРДЪ ВАГНЕРЪ. (1813—1883 гг.). Къ 25-лѣтію со дня его смерти.—**Виктора Вальтера**. *Окончаніе*. 1

X. ЧЕРНАЯ СОТНЯ ВЪ ПРОВИНЦІИ. (Изъ провинціальныхъ встрѣчъ и наблюденій).—**С. Лисенка** 20

XI. ГОДЪ КОНСЕРВАТИВНО-ЛИБЕРАЛЬНОЙ ЭРЫ. (Письмо изъ Германіи).—**К. Дверницкаго** 29

XII. ИВАНУШКА-ДУРАЧОКЪ ВЪ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРѢ.—**А. Смирнова-Кутаческаго** 52

XIII. ХАРАКТЕРЪ АНТИЧНОЙ РЕЛИГІИ ВЪ СРАВНЕНІИ СЪ ХРИСТІАНСТВОМЪ.—**Ѳ. Ф. Зѣлинскаго** 80

XIV. СУЗДАЛЬСКАЯ КРѢПОСТЬ ИЛИ АРЕСТАНТСКОЕ ОТДѢЛЕНІЕ СПАСО-ЕФИМІЕВСКАГО МОНАСТЫРЯ.—**А. С. Пругавина**. *Окончаніе*. 96

Стр.

XV. РУССКІЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТЪ 1908 ГОДА.— Л. Н. Яснопольскаго. 113

XVI. НОВАЯ ДУМА И СТАРЫЯ ДУМЫ.—А. И. Шингарева . . . 134

XVII. ИЗЪ ДНЕВНИКА ЖУРНАЛИСТА.—З. Н. Гиппіусъ. 155

XVIII. НА РАЗНЫЯ ТЕМЫ.—Петра Струве 174

XIX. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ЖИЗНЬ.—В. Н. Линда. 185

XX. ИНОСТРАННАЯ ПОЛИТИКА.—С. А. Котляревскаго. 201

XXI. О ДУШѢ ХОЛОПА. (Полемическая замѣтка).—А. С. Изгоева . 212

XXII. БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЙ ОТДѢЛЪ. I. Книги: Беллетристика.— Исторія, исторія литературы.—Правовѣдѣніе, соціологія.— Публицистика.— Естествознаніе. — Народное образованіе.— II. Списокъ книгъ, поступившихъ въ редакцію журнала «Русская Мысль» съ 1 января по 1 февраля 1908 г. . . . 17

XXIII. ОБЪЯВЛЕНІЯ 1

Для личныхъ переговоровъ, пріема и выдачи рукописей редакція «Русской Мысли» открыта по средамъ и субботамъ отъ 1—3 час. дня.

Непринятыя редакціей рукописи хранятся въ теченіе 6 мѣсяцевъ со дня отправки извѣщенія автору, а по истеченіи этого срока уничтожаются.

Изъ дневника журналиста.

I.

Декаденты и сознаніе.

Бердяевъ—слишкомъ серезный писатель для того, чтобы разбирать и оцѣнивать только что вышедшую его книгу «Новое религіозное сознаніе и общественность» на нѣсколькихъ страницахъ. Ей нужно посвятить цѣлую статью. Въ данный моментъ мнѣ хочется только отмѣтить интересное отношеніе декадентовъ и «декадентской прессы» къ Бердяеву и его мыслямъ. На этомъ частномъ примѣрѣ легко увидѣть и общее отношеніе декадентовъ къ мысли, а можетъ быть даже ихъ отношеніе и къ искусству.

Что къ мысли наши художественные (декадентскіе) журналы относятся отрицательно—ясно видно изъ того, что они ее тщательно обѣгаютъ. Бердяевъ чуждъ и враждебенъ имъ какъ разъ съ этой стороны. «Перевалъ» предоставилъ однажды свои страницы самому Бердяеву, но это была статья «всетаки о полѣ», да и то въ концѣ-концовъ оказалось, что статья Бердяева и «Перевалъ» остались раздѣленными, какъ вода и масло. Въ другихъ журналахъ еще хуже: говорить о мысляхъ, о вопросахъ, затронутыхъ Бердяевымъ—вовсе запрещается. Не въ направленіи.

Но случилось однажды лѣтомъ, что редакторъ самаго «направленскаго» журнала не остерегся,—и проскочила любопытная замѣточка о Бердяевѣ и объ искусствѣ. Критикъ неизвѣстный и, по всѣмъ видимостямъ, прозелитъ своего «направленія». Но тѣмъ интереснѣе. Новообращенные очень горячи и, по неопытности, по самому усердію, часто обнаруживаютъ то, что болѣе опытные скрываютъ. Таковъ и нашъ критикъ, — г. Эллисъ изъ *Вѣсовъ*, только что посвященный, весь горящій, «жрецъ» искусства.

Г. Эллисъ нарушилъ молчаніе, хранимое декадентами объ извѣстныхъ движеніяхъ мысли вообще, и о Бердяевѣ въ частности. Онъ напалъ на Бердяева за его статью о декадентствѣ и общественности, напечатанную въ *Русской Мысли* (№ 7).

Обстоятельство это, съ перваго взгляда, кажется чрезвычайно маловажнымъ. Неизвѣстный рецензентъ въ непопулярномъ журналѣ написалъ

нѣсколько опрометчивыхъ страничекъ. Да и стоитъ ли вообще интересоваться, какъ къ чему относятся наши новѣйшіе поклонники искусства?

А пожалуй, и стоитъ. Наша художественная литература въ послѣднее время сильно выдвинулась, раздѣлилась на особыя теченія, направленія; каждое изъ нихъ, такъ или иначе, претендуетъ на свою идеологію. Направленіе, къ которому принадлежитъ г. Эллисъ, какъ ближайшій сотрудникъ московскихъ *Вѣсовъ*, считается наиболѣе серьезнымъ, представители его считаютъ себя самыми «новыми» и очень искренно борются съ разными другими литературными теченьицами: съ такъ называемыми «мистическими анархистами», съ оргіастами, съ діонисіанцами и проч. Въ ихъ общей защитѣ историческихъ и культурныхъ устоевъ искусства есть, конечно, своя, вѣчная, правда. Но вѣдь это—ихъ отношеніе къ прошлому. А каковъ же ихъ взглядъ на настоящее и будущее, гдѣ ихъ движеніе, въ чемъ ихъ идеологія и ея новизна?

Посмотримъ, что̀ открываетъ намъ г. Эллисъ, этотъ влюбленный и пылкій рыцарь, сражаясь съ Бердяевымъ. Прежде всего онъ объявляетъ истину, что «искусство должно быть свободно». Признаюсь, это меня поразило. Неужели г. Эллисъ думаетъ, что убилъ Бердяева и открылъ новые горизонты подписчикамъ *Вѣсовъ?* Всѣ это знаютъ объ искусствѣ, и Бердяевъ вмѣстѣ со всѣми; неужели г. Эллисъ до сихъ поръ этого не зналъ? Бердяевъ не говоритъ, что «искусство свободно», но вѣдь не говорятъ же изо дня въ день и по всякому поводу о томъ, что небо голубое, а вода мокрая: это само собой разумѣется. И далѣе г. Эллисъ тревожитъ старые призраки, выдвигая утвержденіе, что искусство есть «самоцѣль», «искусство для искусства», между тѣмъ какъ Бердяевъ, будто бы, дѣлаетъ это божество «средствомъ». Еще немного—и г. Эллисъ воскресилъ бы передъ нами всѣ животрепещущіе вопросы конца прошлаго столѣтія. Неужели съ тѣхъ поръ ничего не произошло, никто ничего не творилъ и ни о чемъ не думалъ, неужели опять вытаскивать полинявшее знамя и тѣми же словами защищать «свободное искусство—для искусства?»

Нѣтъ, дѣло проще: г. Эллисъ говоритъ *мимо* Бердяева; Бердяевъ объ одномъ, а г. Эллисъ совсѣмъ о другомъ, о своемъ.

Если бы г. Эллисъ не былъ ослѣпленъ своимъ «направленіемъ», и если бы направленіе это не было чуждо мыслямъ вообще и бердяевскимъ въ частности,—онъ, конечно, нашелъ бы у Бердяева другой, болѣе любопытный матеріалъ для спора. И не испугался бы, какъ ребенокъ, слова «средство», до котораго «низводитъ» Бердяевъ искусство. Вѣдь не съ одной, а съ очень многихъ точекъ зрѣнія искусство не можетъ быть названо иначе, какъ «средствомъ»; и если это «низводитъ» искусство, то лишь въ глазахъ прямого идолопоклонника, а ихъ все меньше и меньше. Даже не касаясь соотношеній между религіей, понятіемъ міробъемлющимъ, и искусствомъ, понятіемъ въ міръ входящимъ,—можно установить, что искусство не болѣе и не менѣе какъ «средство». Не одно ли оно изъ «средствъ» выявленія связи личности съ міромъ? Не одно ли изъ средствъ

воплощенія реальнаго соприкасанія нуменальнаго и феноменальнаго въ человѣчествѣ? Оно—цвѣтокъ, одинъ изъ многихъ цвѣтовъ земли, который мы растимъ; мы пользуемся искусствомъ какъ *средствомъ*, чтобы двинуть міръ дальше, все дальше, къ послѣдней цѣли. Понятіе «творчества», которое шире «искусства»,—даже оно съ правомъ можетъ быть названо «средствомъ», если только мы остережемся признать цѣлью состояніе міра въ каждый данный моментъ, признать цѣль уже достигнутой, то-есть утвердить «безконечный прогрессъ», «дурную безконечность». Бердяевъ, очевидно, не могъ остановиться на дурной безконечности, но г. Эллисъ и до нея не доходитъ: онъ просто требуетъ, чтобы вся многообразная тварь міра избрала изъ своей среды одну и поклонилась ей. Вѣдь «искусство»—въ высшей степени тварь,—съ этимъ врядъ ли будетъ спорить г. Эллисъ. Тутъ и обнаруживается глубочайшій абсурдъ всякаго идолопоклонства: понятіе Бога, каковъ бы этотъ Богъ ни былъ, прежде всего понятіе творящаго въ противоположность творимому. Ставя тварь на мѣсто Божіе,—мы непремѣнно, хотя бы и безсознательно, теряемъ: или понятіе Бога, или понятіе твари. То-есть, въ сущности, одинаково теряемъ оба понятія, потому что какой же Богъ безъ твари, какая же тварь безъ Бога?

Но, можетъ быть, впрочемъ, мы не поняли г. Эллиса? Можетъ быть, онъ вовсе не требуетъ примата для искусства съ подчиненіемъ ему всего остального, вплоть до личности, и называетъ искусство самоцѣльнымъ лишь въ смыслѣ его автономичности, причемъ готовъ признать существованіе рядомъ и другихъ, столь же автономныхъ и самоцѣльныхъ явленій? Это было бы ужъ лучше, съ этой стороны искусство можетъ быть названо и цѣлью; но всетаки отнюдь не только цѣлью, а *и* цѣлью, *и* средствомъ. Такъ же, какъ личность можно, разсматривая ее, признать и цѣлью и средствомъ въ одно время. Но тогда почему же всетаки возмущаться словомъ «средство?» Бердяевъ вполнѣ законно употребилъ его, говоря объ искусствѣ. Если же г. Эллисъ, признавая сосуществованіе многихъ самоцѣльныхъ явленій, возводитъ ихъ автономичность до абсолюта, то-есть отрицаетъ единую послѣднюю цѣль, по отношенію къ которой эти явленія и могутъ быть названы средствами—онъ тѣмъ самымъ разрушаетъ всякую реальную и мысленную міровую связь, разрушаетъ всякое понятіе о міровомъ цѣломъ.

Таково міросозерцаніе новыхъ противниковъ Бердяева; надо сознаться,—оно сильно сближаетъ ихъ съ тѣми же «мистическими анархистами». Да, если искусство никогда, ни въ какомъ соотношеніи, не «средство»—то этимъ утверждается: либо устарѣвшее, надоѣвшее, слабо-философское, обожествленіе, обоженіе искусства, примитивное идолопоклонство бывшихъ «эстетовъ» и «декадентовъ»,—либо не менѣе произвольное, не менѣе недодуманное, хотя гораздо болѣе претенціозное міросозерцаніе «мистическаго анархизма», разрывающее міръ, вопреки всякой реальности, на части, то-есть очень опредѣленно міръ (вмѣстѣ съ искусствомъ) уничтожающее.

Всѣ слова о динамикѣ звучатъ противорѣчіемъ внутри глубоко статическаго круга этихъ идей.

Совершенно такъ же, какъ г. Эллисъ, возражалъ бы Бердяеву и настоящій «мистическій анархистъ». Такъ же упрекалъ бы его въ непониманіи «свободнаго искусства» и такъ же пригрозилъ бы ему въ концѣ-концовъ «клерикализмомъ». «Догматизмъ» и, для усиленія дѣйствія, «клерикализмъ»—это излюбленные жупелы нашего времени; ими стараются запугать непокорныхъ. Не могу, впрочемъ, не замѣтить, что слово «догматизмъ» стало у насъ и вообще словомъ очень туманнымъ, понятіемъ очень растяжимымъ и неопредѣленнымъ. Выясненіемъ, что такое «догма» и «догматизмъ»—заняты теперь наиболѣе острые философскіе умы въ Европѣ. Замѣчательна, между прочимъ, книга Le Roy: «Dogmes et critique», этого тончайшаго и, въ смыслѣ клерикализма, коварнѣйшаго философа... Наши правовѣрные поклонники искусства, вродѣ г. Эллиса, или «мистическіе анархисты»—философіей, конечно, не занимаются, да и употребляютъ слово «догматизмъ» самымъ грубымъ образомъ, грубо смѣшивая съ «клерикализмомъ»... Мнѣ только казалось необходимымъ отмѣтить, что есть дѣйствительно опасныя слова, значеніе которыхъ было бы очень важно когда-нибудь выяснить.

Заговоривъ объ опасности словъ—хочу перейти прямо къ Бердяеву, оставить г. Эллиса. Да и что его еще тревожитъ? Онъ открылъ намъ все, что зналъ и знаетъ. Во всей его статьѣ, кромѣ вышеприведенныхъ «обличеній» Бердяева и утвержденій, что «искусство»—цѣль, искусство должно быть свободно» и т. п.—ничего нѣтъ. Къ сознанію, какъ къ бердяевскому, «религіозному», такъ и вообще ко всякому, г. Эллисъ, подобно своимъ единомышленникамъ, не выразилъ никакого отношенія. Отношеніе же его къ искусству оказалось не только общеизвѣстнымъ, но даже почти забытымъ, какъ забываются картинки дѣтской азбуки. Мы лишь изъ добросовѣстности пытались построить на этихъ банальностяхъ какое-нибудь, хоть ошибочное, міросозерцаніе. Вѣроятнѣе же всего, что у г. Эллиса и у представителей его направленія вовсе нѣтъ никакого міросозерцанія: они считаютъ, что это совершенно лишнее для людей «чистаго, истиннаго искусства».

А Бердяева, при всей моей къ нему любви и уваженіи, мнѣ хочется упрекнуть за неосторожное обращеніе со словами. Уже не говоря о его терминахъ «мистическій реализмъ», «неохристіанство» и пр.—какъ опасно излюбленное имъ слово—«теократія!» Въ утвержденіи «теократіи» Бердяеву грозитъ опасность внѣшне слиться, смѣшаться уже не съ кучкой маловѣдомыхъ міру, захудалыхъ «мистическихъ анархистовъ» (съ которыми онъ смѣшивается своимъ «мистическимъ реализмомъ»)—нѣтъ, но съ группой людей болѣе значительныхъ и страшныхъ... Мнѣ психологически понятна угроза «клерикализмомъ», которую г. Эллисъ бросаетъ Бердяеву въ концѣ своей замѣтки: г. Эллисъ видитъ дѣло привычно, грубо,—понимаетъ его, *какъ всѣ*.

«Теократія»—въ точномъ смыслѣ «Боговластіе». Что же такое «бого-

властіе?» Это значитъ (въ реально-историческомъ пониманіи)—*власть людей*, поставленныхъ, помазанныхъ на то Богомъ. Въ этомъ, повторяю, только въ этомъ смыслѣ понималось доселѣ слово «теократія», и только такою она была намъ показана въ исторіи. Чтобы съ правомъ употреблять это слово въ иномъ значеніи,—(какъ, я думаю, употребляетъ его Бердяевъ)—ему нужно бы не десять статей, а десять томовъ написать о теократіи. Да и этого, пожалуй, недостаточно; надо, пожалуй, теократію не доказывать, а показывать; надо ее, новую, сдѣлать такой же реальной, какой была сдѣлана старая въ исторіи.

А пока для этого не пришелъ срокъ—нельзя съ легкостью подъ старое слово подставлять новое понятіе. Надѣяться тутъ избѣжать недоразумѣній—это просто значитъ не считаться съ реальностью. А Бердяевъ, конечно, хочетъ считаться съ реальностью, иначе не отстаивалъ бы реальности и въ мистикѣ.

Мистика! Вотъ тоже слово, которое теперь повторяетъ каждый, и каждый вкладываетъ въ него свое содержаніе. Такъ оно стало обычно, что звучитъ прямой непонятностью...

Мнѣ кажется (да проститъ мнѣ философъ наивную смѣлость моихъ опредѣленій),—что мистика существуетъ реально лишь тогда, когда она *уже* заключена въ реальный кругъ религіи. Такъ что собственно «мистики», какъ чего-то отдѣльнаго, и не существуетъ; есть слово—безъ понятія, слово, которое нѣтъ нужды и употреблять. Бердяевъ борется, конечно, за эту настоящую мистику противъ пустого мѣста. Зачѣмъ же онъ говоритъ о «мистикѣ», а не прямо только о религіи, одно изъ свойствъ которой—мистика?

У Бердяева много *тактическихъ* ошибокъ: онъ называетъ новое старымъ словомъ «мистика»,—словомъ изжитымъ, какъ «теократія». Надо быть смѣлѣе: что-жъ дѣлать? къ дѣйствительной мистикѣ *нѣтъ* путей черезъ то, что мы привыкли называть мистикой. Для чего же мы и устанавливаемъ верхнюю точку, центръ, какъ не для того, чтобы всегда отъ этого центра искать окружности, идти къ окружности, а не наоборотъ? Увы, они утѣшающи, наши внѣшнія, скорыя, словесныя соглашенія съ людьми—но они обманны и никого никуда не двигаютъ, ничего не измѣняютъ, только запутываютъ; отъ нихъ надо умѣть отказываться.

Можно подумать, однако, что я дѣлаюсь врагомъ словъ и проповѣдую молчаніе. Да, я врагъ легкаго отношенія къ словамъ; но именно потому, что я—убѣжденный врагъ молчанія; потому что словамъ, рѣчи—этому необходимому и великому выявленію личности, этому ея воплощенію, ея реализаціи—я придаю почти несравненное значеніе. Слова человѣка—не созерцаніе, и не дѣйствіе: они стоятъ на рубежѣ между созерцаніемъ и дѣйствіемъ; отъ нихъ въ зависимости оба: и созерцаніе, и дѣйствіе; въ этомъ смыслѣ «отъ нихъ оправдаешься и отъ нихъ осудишься». Больше скажу: если выбирать между двумя опасностями,—опасностью словъ лишнихъ, неосторожныхъ, и опасностью молчанія—вторая страшнѣе. Не-бытіе

всегда страшнѣе бытія. Но этимъ я не хочу пріуменьшить, затереть всю значительность и первой опасности. Не трусость передъ словами я проповѣдую, но благоговѣйный страхъ въ сознаніи ихъ силы и великой важности, страхъ, который не долженъ никого останавливать передъ рискомъ, удерживать отъ риска, но долженъ придавать самому риску безкорыстное и смиренное благородство.

Этотъ страхъ, это божественное, непрепобѣдимое «чувство мѣры»—всегда есть, между прочимъ, и у настоящаго «художника». Возвращаясь къ г. Эллису и декадентамъ, я хочу, чтобъ они вспомнили это,—или поняли и сознали. И если такой высшій критерій можетъ быть названъ закономъ, если это одинъ изъ «догматовъ» истиннаго искусства, то не будемъ ли мы правы, утверждая, что и для искусства нѣтъ полной «свободы»? Нѣтъ свободы,—какъ беззаконія?

II.

Толстой и Плехановъ.

Л. Толстой написалъ «Не убій никого». За границей эта статья была напечатана цѣликомъ, въ русскихъ газетахъ съ пропусками, которые, впрочемъ, никому не помѣшали понять ея общій смыслъ.

Да вѣдь онъ и не новъ. Толстой ничего не прибавляетъ къ тому, что говоритъ уже много лѣтъ, и, можетъ быть, къ тому (это самое главное), что̀ человѣчество знаетъ давно безъ Толстого, знаетъ съ незапамятныхъ временъ. Древній, вѣчный законъ «не убій» не отрицаетъ и Плехановъ, который однако выступилъ противъ Толстого и его статьи, противъ лѣвыхъ газетъ, напечатавшихъ ее съ поспѣшностью. Не одинъ Плехановъ, многіе встали тогда на Толстого за его статью, а вѣдь и эти многіе, конечно, знаютъ, что Толстой правъ; слышали о вѣчности древняго закона «не убій».

Въ чемъ же дѣло? Значитъ ли, если правъ Толстой, что неправы упрекающіе его?

Нѣтъ, не значитъ. Они такъ же правы, совершенно такъ же, въ той же мѣрѣ, какъ правъ Толстой. У Толстого настоящая правда, только не полная,—половина правды; у возражающихъ—другая половина. А неправда—между, неправда въ томъ, что двѣ половины отрицаютъ другъ друга, враждуютъ, считая себя, каждая—цѣлымъ.

Толстой мнѣ страшенъ иногда, несмотря на правду его. Толстой такъ возненавидѣлъ міръ, такъ осудилъ его и, осудивъ, такъ безнадежно бросилъ его,—что всякому, кто уходитъ съ Толстымъ, надо бы умереть отъ страха за міръ, а остающемуся въ мірѣ, съ міромъ,—умереть отъ страха за Толстого. Въ самомъ дѣлѣ, что намъ говоритъ Толстой?

Будьте совершенны. Сію минуту, сейчасъ, всѣ сдѣлайтесь, сразу, вполнѣ совершенными. «Стоитъ только сговориться»—и вы все исполните. Вы *можете* исполнить, стать въ одинъ мигъ всѣ совершенными, вы только

не хотите. Это злая воля. Ваша человѣческая злая воля, одна, причиной тому, что міръ несовершенъ. Вы виноваты во всемъ. Если вы несчастны—вы наказаны достойно, если кто-нибудь еще счастливъ—это обманъ, несчастье придетъ. Всѣ осуждены безъ прощенія, потому что могли исправиться—и не хотѣли, и такъ и умираютъ несовершенными въ несовершенномъ, по ихъ винѣ и злой волѣ, мірѣ.

Толстой, который столько говорилъ намъ о любви,—въ сущности идетъ тутъ не только противъ любви, но, можетъ быть, противъ Высшаго Разума, Высшей Воли—противъ Бога. Вѣдь если «жизнь» есть достиженіе совершенства *во времени*, если такова была высшая воля,—Толстой, отрицая жизнь, исторію, *движеніе* къ совершенству—идетъ противъ Бога, въ котораго самъ вѣритъ.

Какъ могъ онъ не осудить «освободительное движеніе», если онъ осуждаетъ всякое, осуждаетъ все движеніе жизни? Его абсолютная правда—звѣзда, но онъ не только не указываетъ къ ней путей—онъ не хочетъ, чтобы къ ней былъ путь, онъ не любитъ ищущихъ пути, не вѣритъ идущимъ. Онъ требуетъ, чтобы всѣ тотчасъ же и сразу очутились на этой звѣздѣ, а если нѣтъ—то всѣ равны, всѣ одинаково никуда негодны. Пропало человѣчество. Насмѣшка—исторія. Какъ были люди злы волей—такъ и остались. И какія основанія вѣрить, что завтра или послѣзавтра вдругъ наступитъ моментъ, когда всѣ люди сразу сдѣлаются совершенными, вѣрить, несмотря на длинную цѣпь прошлыхъ безплодныхъ дней? Это могъ бы развѣ безумецъ. Ужъ, конечно, не Левъ Толстой, уважающій не только высшій разумъ, но даже простой «здравый смыслъ»,—настаивающій на здравомъ смыслѣ. Толстой—величайшій пессимистъ нашего времени. И онъ не учитель, потому что онъ ничему не учитъ. Онъ только показываетъ намъ абсолютъ, цѣль, совершенство—и утверждаетъ непереходимую бездну, отдѣляющую человѣчество отъ этого абсолюта.

Съ высоты абсолюта—всѣ равны. Неразличимы оттѣнки, нѣтъ не только отдѣльныхъ индивидуальностей, но даже исторической смѣны временъ. Для утверждающаго: «Не убій никого», какъ законъ, которому слишкомъ давно надо было исполниться и который не исполнился лишь благодаря злонравію людскому,—для него какая можетъ быть разница между убійствомъ-казнью и между убійствомъ-самоубійствомъ революціонера-идеалиста, между убійцей-воромъ и убійцей по нечаянности? О, конечно, ни малѣйшей. Мало того: если быть послѣдовательнымъ, то надо признать, что даже будущіе люди, не убивающіе людей, въ сущности, равны въ глазахъ Толстого людямъ теперешнимъ; пусть они и животныхъ не будутъ убивать: остаются растенія, остаются живые организмы, которыхъ убиваетъ наше тѣло. А вѣдь законъ—«не убій *никого*». Гдѣ же границы осужденію человѣчества? Нѣтъ границъ, потому что нѣтъ оттѣнковъ, нѣтъ времени. Для Толстого нѣтъ міра становящагося, нѣтъ переходовъ неабсолютнаго въ абсолютное. Есть проклятый міръ—и одиноко сіяющая надъ нимъ, недостижимая и безплодная, страшная для него—абсолютная правда. Царство Божіе,—но куда нѣтъ

пути людямъ, куда всѣ были званы, но званы точно въ насмѣшку, потому что ни одинъ не оказался избраннымъ.

Плехановъ видитъ движеніе жизни. Во имя этого движенія онъ возстаетъ на Толстого—и тутъ онъ правъ. Грубо говоря, Плехановъ признаетъ «тактику» и «практику», то, отъ чего Толстой навсегда отвернулъ лицо. Можно бы взять и другой примѣръ,—я беру Плеханова почти случайно, узко, лишь какъ одного изъ возражавшихъ на данную статью Толстого. Плехановъ видитъ и признаетъ обыденную, поступательную работу въ реальной жизни. Я не сужу сейчасъ, вѣрна или невѣрна «тактика» Плеханова. Это другой вопросъ. Важно отмѣтить, что онъ какую-то тактику признаетъ, смотритъ въ жизнь. Тутъ его правда, вѣрнѣе—половина правды; другая ея половина—у Толстого. Потому что, если Толстой кладетъ центръ тяжести въ абсолютъ, утверждаетъ цѣль безъ средствъ ея достиженія, то Плехановъ, съ своей стороны, заботится только о средствахъ, о движеніи... неизвѣстно куда, неизвѣстно къ чему. Можетъ быть, къ нѣсколькимъ, неопредѣленнымъ, попутнымъ цѣлямъ, во всякомъ случаѣ не къ абсолютной цѣли, такъ какъ никакой абсолютъ, съ точки зрѣнія Плеханова, недопустимъ.

И вотъ, у одного получается безцѣльное движеніе, у другого—недостижимая, а потому ненужная цѣль. Плехановъ съ міромъ, съ человѣчествомъ—противъ Бога, Толстой со своимъ Богомъ—противъ человѣчества и жизни.

Повторяю, я беру Плеханова очень узко, только въ его протестѣ, данномъ,—противъ данной статьи Толстого. Плехановъ тутъ характерный выразитель множества, раздѣляющаго, въ общемъ, его міросозерцаніе и праведно возстающаго на Толстого за его отказъ отъ міра. Обѣ эти силы, столь противоположныя, сходятся лишь въ одномъ: въ полной безличности. Всякое безцѣльное міросозерцаніе—непремѣнно безлично; человѣческая личность, какъ абсолютная монада, не можетъ существовать для того, кто признаетъ лишь общее историческое движеніе человѣчества—движеніе для движенія; поэтому логически внѣличенъ Плехановъ. Но равно внѣличенъ и Толстой. Вѣдь онъ не видитъ даже разницы временъ,—какъ можетъ онъ отдѣлить одного человѣка отъ другого? Они оба совершаютъ то же дѣйствіе, они одинаково далеки отъ абсолюта.

Меня удивляютъ тѣ, кто удивляется отношенію Толстого къ освободительному движенію. Онъ измѣнилъ бы себѣ, если бы отнесся къ нему иначе. А Толстому мѣняться поздно. Не въ упрекъ ему говорю,—а скорѣе въ упрекъ тѣмъ, кто требуетъ отъ человѣка, давшаго въ своемъ безмѣрно много, еще чего-то, ему несвойственнаго и непосильнаго. При этомъ я вовсе не хочу сказать, что слѣдуетъ «забросать цвѣтами Ясную Поляну» за то, что Толстой далъ намъ такія великія художественныя произведенія, какъ предлагалъ Яблоновскій въ *Товарищѣ*, возражая на какую-то газетную статью противъ Толстого. Я считаю, что Толстой дѣлаетъ свое великое дѣло, утверждая съ такой искренностью и силой вѣчную правду вѣчной цѣли. Онъ не устаетъ повторять «не убій»—и онъ правъ. Потому

что вѣдь дѣйствительно... *убивать нельзя*. Если мы остановимся на формулѣ: человѣку нельзя убивать человѣка,—то ее несомнѣнно принимаетъ и Плехановъ, онъ ее вскользь и принялъ въ своей статьѣ... не обративъ, положимъ, на это особаго вниманія,—ибо тутъ ужъ нѣкая «цѣль», и она ему органически чужда. Ни Плехановъ, ни Толстой, ушедшіе каждый лишь въ свое, одинаково не видятъ и не чуютъ страшной, глубоко-реальной, жизненной антиномія, которая такъ часто теперь встаетъ въ душѣ каждаго человѣка, начинающаго видѣть обѣ правды: и правду жизни, и правду ея смысла. Убивать нельзя... это вѣчно, это абсолютно, это непереступимо. Убиваютъ... это переступается, это было, это *еще* есть. Въ одной и той же душѣ, смятенной и окрыленной, кричатъ иногда два голоса: «нельзя... а можетъ быть, еще надо». Вотъ благодатнаго ужаса, которымъ полно столкновеніе «нельзя, и надо»—не видятъ ни Толстой, осуждающій всѣхъ во имя абсолюта, ни Плехановъ, готовый простить многое во имя безцѣльнаго движенія человѣчества. О, слишкомъ я знаю, что никакими словами нельзя заставить Плеханова повѣрить въ то, во что онъ не вѣритъ, какъ Толстого—увидѣть то, чего онъ не видитъ. А между тѣмъ это одно, такое явное для многихъ, могло бы утѣшить Толстого въ его упорномъ одиночествѣ. Неужели толстовское «нельзя убивать»—совершенно такой же внѣшній законъ теперь, какъ и въ тѣ далекія времена, когда онъ былъ данъ? Неужели трудно прослѣдить его постепенное врастаніе въ душу человѣческую, увидѣть не внѣшнее, а медленное внутреннее приближеніе человѣчества къ нему?

Ветхозавѣтный Давидъ, святой и пророкъ, отлично знавшій этотъ законъ и чтившій Бога, безъ всякихъ сомнѣній перепиливалъ однако тупыми пилами тысячи людей. У него въ душѣ было одно: «надо» и ни малѣйшаго «нельзя». А маленькій сѣрый человѣчекъ нашихъ дней, президентъ Фальеръ, менѣе всего святой и даже не занимающійся Богомъ, твердо милуетъ всѣхъ осужденныхъ на смертную казнь, твердо чувствуя, что ужъ казнить-то навѣрно больше «нельзя», и что касается открытаго, обдуманнаго, безцѣльнаго убійства одного—всѣми другими, убійства-казни,—то и антиноміи уже нѣтъ, не встаетъ рядомъ съ «нельзя» никакое «надо»; человѣчество, почти все, уже перешло тутъ извѣстную черту.

Было бы ошибкой принять то, что я говорю, за легкомысленный оптимизмъ. Путь человѣчества чѣмъ далѣе, тѣмъ труднѣе. Антиноміи ярче и мучительнѣе. Но путь, движеніе,—или есть—или нѣтъ. Что-нибудь одно. И я только говорю, что движеніе,—и движеніе по извѣстному уклону—есть. Хорошо ли это, или дурно, даже становится ли отъ этого человѣчество счастливѣе или несчастнѣе—вопросы посторонніе, которые могутъ обсуждаться отдѣльно. Я ихъ не касаюсь. Я здѣсь утверждаю только факты, реальность измѣненія внутреннихъ человѣческихъ переживаній. Многія изъ нихъ еще не воплощены: между осознанной волей и осуществленіемъ всегда лежитъ время. Но едва ли какое-нибудь истинное внутреннее переживаніе можетъ остаться внутреннимъ, не перейти въ міръ,—въ дѣйствительность.

Если бы Толстой, ослѣпленный сіяніемъ своего абсолюта, могъ обернуться лицомъ къ людямъ, увидѣть ихъ,—онъ никогда не осудилъ бы ихъ огуломъ и, конечно, никогда не осудилъ бы «освободительное движеніе». Говоря, повторяя свою вѣчную правду «нельзя убивать никого», онъ все-таки понялъ бы глубочайшую пропасть, которая отдѣляетъ человѣка-звѣря, убивающаго въ безуміи, отъ человѣка, убивающаго умирая, въ мукахъ души между «нельзя—надо», и, наконецъ, этихъ обоихъ—отъ государственнаго убійства-казни, убѣжденнаго убійства многими—одного, безъ иной цѣли, нежели убійство само по себѣ.

Да, нельзя убивать. Да, убійство нельзя ни оправдать, ни простить. Но наше ли дѣло осуждать, прощать или оправдывать? Толстой забываетъ, что и онъ самъ—часть того человѣчества, которое онъ отвергъ. А только принявъ его сейчасъ во всемъ его несовершенствѣ, можно его понять, можно любить и можно повѣрить, что *будетъ* «Царствіе Божіе» на землѣ.

III.

Острая точка.

Очень много у насъ говорятъ теперь о «молодежи». Много, а можетъ быть, и слишкомъ мало. Болтаютъ скорѣе, а не говорятъ. Передъ литературной молодежью—то преклоняются, то ее осмѣиваютъ. Фактъ, что дѣти нашего времени внезапно, не по лѣтамъ, не по годамъ,—выросли, не только въ литературѣ, но и во всей жизни, этотъ фактъ или не замѣчаютъ, или его пугаются, кричатъ, бранятся и съ перепугу клевещутъ. Отцы, впрочемъ, чрезвычайно склонны бояться своихъ дѣтей: трудно имъ вглядѣться тутъ объективно, судить безпристрастно. А между тѣмъ вглядываться необходимо. Когда происходитъ общій переломъ жизни, одна изъ самыхъ острыхъ его точекъ—въ полосѣ юности. Кто они, какія они, эти сразу выросшія, среди обломковъ нашего быта, дѣти? Чего они хотятъ, какіе вопросы ихъ стали мучить, чѣмъ они страдаютъ—и страдаютъ ли? И смогутъ ли они жить, совершенно оторвавшись отъ прошлаго, одни, между собой, своимъ собственнымъ лагеремъ, враждебнымъ лагерю отцовъ?

Въ томъ-то вся и трудность, что надо бы раньше всего разбить эту взаимную враждебность,—а ее, кажется, разбить нельзя. Для этого надо было бы отцамъ отказаться отъ своей «отцовской» психологіи, а дѣтямъ—отъ ихъ дѣтской. А это глубокій и общій переворотъ, и не достигается онъ единичнымъ усиліемъ разума. Здѣсь замѣшано начало внѣразумное, родовое, начало стихійное и безличное. Дана именно *безличность* взаимныхъ отношеній, тогда какъ только отношенія личныя могутъ привести къ пониманію другъ друга. Спросите любого отца по совѣсти (сейчасъ я говорю о родныхъ отцахъ и дѣтяхъ), развѣ для него сынъ—личность, хотя бы только становящаяся? Нѣтъ, но прежде всего сынъ, и чаще всего только сынъ. Отецъ можетъ, притворяясь равнымъ (съ педагогической

цѣлью)—учить сына, но согласится ли онъ, что сынъ кое-что лучше знаетъ, дальше видитъ и можетъ поучить его? О, никогда. Отцы упрямы, независимо отъ ихъ типа, т.-е. не соглашаются ли они, запугивая, или не соглашаются запуганно, какъ старикъ Базаровъ у Тургенева. Въ обоихъ случаяхъ они ничего отъ сыновей не принимаютъ и ничего не понимаютъ.

Таковы родные отцы. Но развѣ у человѣка, имѣющаго психологію отца по отношенію къ своимъ дѣтямъ, не вырабатывается эта отцовская психологія и къ дѣтямъ вообще, къ юности, къ слѣдующему поколѣнію? Непремѣнно вырабатывается. Конечно, и «дѣтская» психологія не лучше; вѣдь и она равно безлична. Виноваты ли въ ней «отцы»—трудно сказать. Кто виноватъ? Да и есть ли тутъ вообще чья-нибудь вина? Не знаю. Я только изслѣдую фактъ,—несомнѣнный,—и его причины.

Плохо, что обѣ стороны винятъ другъ друга. Ужъ лучше бы имъ молча разойтись. Но молча уходятъ скорѣе дѣти, они свободнѣе, да и молодой самоувѣренности, иногда опрометчивой, у нихъ больше. Отцы, въ безсильномъ раздраженіи, въ искренней любви своей, можетъ быть,—или отвертываются, или преувеличиваютъ «ужасы» новыхъ взглядовъ молодежи.

Грубость статьи Меньшикова «Зеленая опасность» безпримѣрна. Но на то онъ и Меньшиковъ—единственный въ своемъ родѣ. Однако элементъ... не то что грубости, а негодующаго страха передъ иными «направленіями» молодежи, страха, сквозящаго и у Меньшикова, встрѣчается повсюду. Страхъ этотъ не безосновательнъ... но безплоденъ. Никакая педагогія, никакое внушеніе, напоминаніе о «вѣчныхъ, привычныхъ нравственныхъ законахъ» не убѣдитъ члена общества «Огарковъ» (если такое существуетъ) и не приведетъ его кающагося на грудь отца. По признанію самихъ «дѣтей», проповѣди кончались лишь тѣмъ, что отецъ кричалъ: «дальтонистъ! Нравственный уродъ!» и хлопалъ дверью. Напрасно только дѣти жалуются на это, ставятъ отцамъ въ вину: «сердится, не хочетъ спокойно разсудить, понять»... Не не хочетъ, а не можетъ. И такъ оно и должно быть. О половой морали, напримѣръ (а это самый острый вопросъ)—сыну съ отцомъ говорить не то, что «безнравственно», а просто невозможно; противно это самой природѣ человѣческой, ея тончайшимъ внутреннимъ ощущеніямъ.

Одинъ изъ нашихъ глубокихъ «плотовидцевъ», проникновенный учитель свойствъ рода и пола, В. Розановъ,—замѣчаетъ гдѣ-то, что родовое чувство—тоже чувство половое, и оно всегда обращено впередъ, никогда назадъ. Волны рода не текутъ вспять. Полъ сына, личный, долженъ быть отвращенъ отъ отца, сокрытъ отъ него, такъ же какъ и отцовскій—отъ сына. Сынъ и отецъ не могутъ бесѣдовать о вопросахъ пола и половой этики, какъ равные, не могутъ тутъ встрѣчаться лицомъ къ лицу: между ними ужъ есть полъ,—и полъ опредѣленный, законченный, безличный: родовая связь. Скрѣпляя ихъ—она вмѣстѣ съ тѣмъ устанавливаетъ между ними непереступное разстояніе, утверждаетъ ихъ взаимное положеніе—на близкихъ, но разныхъ ступеняхъ лѣстницы.

О всякихъ обществахъ «Огарковъ», «Лови моментъ» и другихъ—много, конечно, напутано, наплутано и навыдумано: тутъ опять отцовскій страхъ, а у страха всегда глаза велики. Но несомнѣнно, что переломъ какой-то совершается, что молодость нашихъ дней, въ громадномъ большинствѣ своемъ, ищетъ новыхъ устоевъ внутренней жизни; а ихъ нельзя искать безъ коренного пересмотра старыхъ.

Опасны эти пересмотры... о, да. Но неизбѣжны, необходимы и желанны. Для молодежи они тѣмъ опаснѣе, чѣмъ больше она предоставлена самой себѣ, чѣмъ безнадежнѣе она порываетъ свою связь съ прошлымъ. А она иногда ее порываетъ всю, отчаявшись сговориться съ «отцами»... Да зачѣмъ съ ними сговариваться? Учить отцы ничему не могутъ, въ нѣкоторыхъ вопросахъ нравственности даже и не должны,—но учиться у отцовъ, на отцахъ—должно и можно. «Я не пролетарій,—говоритъ Бердяевъ въ своей послѣдней книгѣ,—я дорожу наслѣдствомъ моихъ предковъ, наслѣдствомъ исторіи». Человѣкъ, вступающій въ жизнь и принципіально отказывающійся отъ этого наслѣдства, заранѣе, безъ пересмотра, рѣшающій, что тамъ нѣтъ ничего для него годнаго,—такой человѣкъ дальше «пролетарства» въ самомъ дурномъ смыслѣ, даже босячества, внутренняго хулиганства,—не пойдетъ. Пусть онъ и силенъ, пусть геніаленъ,—не пойдетъ. Онъ безъ корней, и никакой новой жизни ему не создать, да пожалуй и старой, какъ слѣдуетъ, не разрушить.

Разрывъ съ отцами—еще вовсе не отказъ отъ «прошлаго», и даже отнюдь не разрывъ непремѣнно со всѣмъ предыдущимъ поколѣніемъ. Молодежь не можетъ и не должна отказываться отъ живого общенія со своими современниками только потому, что они ихъ старше; нельзя запираться въ себѣ. Вѣдь иначе выходило бы, что опредѣленіе личности—ея возрастъ, или что вообще никакой «личности» нѣтъ, а есть особыя породы людскія, одна до 20—24 лѣтъ, другая—свыше. Психологія «отцовъ»—не всеобщая психологія людей, прожившихъ извѣстное количество лѣтъ на свѣтѣ. Такъ же, какъ и «дѣтская»; чѣмъ ярче личность—тѣмъ слабѣе въ ней чувство родовое. Кромѣ того, мнѣ иногда кажется, что между «отцами» и «дѣтьми» всегда стоитъ, на самомъ переломѣ, какое-то третье поколѣніе. Это люди промежуточной ступени, люди свободные отъ обоихъ родовыхъ психологій, не «отцы» и не «дѣти», но одинаково видящіе и тѣхъ и другихъ. Они есть и въ литературѣ нашихъ дней (Какъ первый попавшійся примѣръ—приведу Ѳ. Сологуба). Вѣдь литература—кусокъ все той же, сложной, жизни. Если это «третье» поколѣніе гораздо ближе къ «дѣтямъ», чѣмъ къ отцамъ, то потому, что съ «отцами» вообще нечего дѣлать, нечѣмъ вмѣстѣ заниматься: они неподвижны, имѣютъ что имѣютъ, у нихъ можно только брать, а сами они ни съ кѣмъ уже не идутъ.

Моя тема шире литературы. Меня сейчасъ занимаетъ духовная жизнь общей массы молодежи, а не одно отраженіе ея въ искусствѣ, не художественное творчество талантливыхъ представителей юнаго поколѣнія. Большинство не пишетъ, не печатаетъ, не имѣетъ опредѣленнаго таланта,—

а вѣдь живутъ же они какъ-то, и умираютъ, и есть же между ними общность вопросовъ, къ разрѣшенію которыхъ они какъ-то стремятся, мучаются; можетъ быть, съ одинаково новой остротой встаютъ передъ ними эти вопросы, и чувствуется одинаковая потребность разрѣшать ихъ сызнова, по иному, не по-отцовски, а по-своему...

Литература—лишь одна изъ областей для изслѣдованія. Она помогаетъ изслѣдованію, но... надо выбирать изъ нея вещи наименѣе литературныя: онѣ цѣннѣе. Онѣ ближе къ жизни. Онѣ—почти человѣческіе документы, а это-то въ данномъ случаѣ намъ и важно. Блокъ, даже Городецкій, ихъ сборники стиховъ—характерны въ своемъ родѣ, но сейчасъ намъ ненужны. У Городецкаго, помимо таланта, столько еще чистой литературщины, что до него и не доберешься. На немъ осѣла вся копоть петербургской литературной среды. Леонидъ Андреевъ—и тотъ для даннаго случая интереснѣе. Хотя онъ, въ общемъ, сильно отсталъ отъ наиболѣе острыхъ переживаній молодежи,—но имѣетъ съ нею фактическую связь, и его «художественныя» произведенія, благодаря ихъ оголенности отъ литературы, ихъ откровенной, естественной неискусности—интереснѣе, документальнѣе Блоковъ и Вячеславовъ Ивановыхъ. А еще интереснѣе—тамъ и сямъ разбросанные отрывки подлинныхъ «рефератовъ» молодежи, безпомощныя, «понедѣльничныя» статейки въ «Руси», иногда неумѣло оправленныя въ литературную форму разсказа, «Записки», «Исповѣди», вродѣ недавно вышедшей въ Москвѣ книжечки «Антихристъ»... Именъ я не называю, не въ именахъ тутъ дѣло. Важно, что при полной разности личностей и даже самыхъ переживаній—несомнѣнно есть между ними какая-то глубокая общность. Конечно, если вопросы, которыми заняты теперь люди, начинающіе мыслить и жить,—коренные и серьезные—то они извѣстны: такихъ вопросовъ немного; они непремѣнно касаются которой-нибудь изъ трехъ,—если не всѣхъ трехъ,—частей нашего бытія: личности, или пола, или общественности. Но вопросы эти всегда встаютъ въ новомъ освѣщеніи... Каждая эпоха имѣла свои рѣшенія, годныя лишь для нея. Слѣдующая ищетъ своихъ.

Нашъ недавній уклонъ къ индивидуализму несомнѣнно подготовилъ самыя крайнія и яркія личныя переживанія, о какихъ разсказываетъ намъ хотя бы авторъ девятнадцатилѣтняго «Антихриста».

— Что мнѣ дѣлать съ собою? Что такое «я?» Я какой-то абсолютъ. Христосъ я или Антихристъ?

Это совсѣмъ не смѣшно. Это—обыкновенно, скажутъ мнѣ. Да; и очень важно, что это *стало* обыкновенно. Конечно, и Толстой въ свое время переживалъ острую внутреннюю трагедію, помышлялъ о самоубійствѣ, спрашивалъ, «что же такое *я*?», говорилъ, что жить нельзя, не рѣшивъ ничего о «я». А потомъ, однако, остался жить, не рѣшивъ или такъ рѣшивъ, что его рѣшеніе теперь никого уже не удовлетворитъ. Но это былъ Толстой, т.-е. именно не обыкновенный человѣкъ... тогда какъ авторъ «Антихриста»—самый обычный юноша, изъ десятка, а можетъ

быть, изъ тысячи... Это я говорю не потому, что знаю его или не знаю—нѣтъ, сама книжка кричитъ объ этомъ, каждая страница ея—ликъ не одного, а многихъ такихъ же, такъ же томящихся смертной тоской о себѣ, о своемъ «я», о которомъ, «если не рѣшить, что оно такое—жить нельзя». Герой въ «Запискахъ друга» (Русь)—родной братъ Антихристу. «Записки» эти, конечно, сочинены, другъ вымышленъ, никто не застрѣлился. И всетаки «сочиненія» никакого нѣтъ, всетаки это подлинный документъ. Искусство чаще всего говоритъ намъ о томъ, что «могло бы быть» или «должно бы быть», но чего, можетъ быть, и нѣтъ; при отсутствіи же искусства—или ровно ничего нѣтъ, или, въ разсказанномъ, черезъ слова, мы ощущаемъ реальную подлинность бытія. Оно, можетъ, и не должно быть,—но оно непремѣнно было и есть, сейчасъ, въ эту минуту. Выдуманный «другъ» непремѣнно все это пережилъ, продумалъ, и, возможно, въ эту самую минуту готовитъ револьверъ, черезъ полчаса застрѣлится. Убивать ему себя, по самому ходу переживаній, нѣтъ никакой логической нужды; но и это дышитъ жизненной, непослѣдовательной правдой: такъ именно *бываетъ*, но такъ не *сочиняютъ*.

Здѣсь же, кстати, упомянемъ—хотя это и кажется страннымъ,—о послѣдней повѣсти Л. Андреева—«Тьма». Какъ ни «сочиняетъ» этотъ очень способный литераторъ—его «документальность» перевѣшиваетъ его талантъ. Сочинительство, правда, лишаетъ героевъ Андреева полной реальности бытія. Мы не вѣримъ, что террористъ сидитъ гдѣ-нибудь въ публичномъ домѣ, и напротивъ вѣримъ, что сейчасъ «другъ» застрѣливается, а юный «антихристъ» кричитъ извозчику: «вези меня къ дѣвкамъ!» Но голое, психологическое касанье къ вопросу—у Андреева очень вѣрное, и опять къ тому же вопросу «о себѣ», о томъ, «что я такое» и «что мнѣ съ собой дѣлать». Хорошій я? Плохой я? Какимъ мнѣ быть? Хорошимъ или плохимъ?

Андреевъ, конечно, запутался въ собственныхъ сѣтяхъ съ перваго шага: онъ не знаетъ, ни что зоветъ хорошимъ, ни что плохимъ; взявъ эти понятія очень легкомысленно—онъ рѣшаетъ, что хорошимъ можно быть, ставъ плохимъ. Но вѣдь намъ неинтересны его рѣшенія.

Острота переживаній вопроса «о личности» неизбѣжно толкаетъ къ столь же острой постановкѣ и слѣдующаго вопроса: о полѣ. «Я» осложняется; «я» встрѣчается съ «ты». Загадка о внутреннемъ смыслѣ половой любви и половыхъ отношеній можетъ пріобрѣсти громадную важность. И мы видимъ, какое значеніе имѣетъ этотъ вопросъ въ глазахъ молодежи. О вопросѣ третьемъ и послѣднемъ,—общественномъ,—и говорить нечего. Слишкомъ врѣзался онъ въ нашу жизнь, слишкомъ ясно для всѣхъ, что онъ-то ужъ не обходится стороною.

Если бы это были одни разговоры, еслибъ сущность вопросовъ (да и самаго времени нашего) была такова, что все сводилось бы къ однимъ философскимъ размышленіямъ и опредѣленіямъ—дѣло бы, конечно, обстояло иначе. Но это не одни разговоры. Опредѣленіе «что я такое» тот-

часъ же тянетъ за собою другой вопросъ: «что мнѣ дѣлать», то-есть вопросъ морали, жизненнаго дѣйствія, поведенія. Тройственная мораль: личная, половая и общественная—немедленно вступаетъ въ свои права. Жизнь стучится въ двери кабинета, и волей-неволей каждый «философствующій»—не философствуетъ отвлеченно.

«Мы не хотимъ ничего принимать безъ провѣрки»,—заявляетъ молодежь. И это очень хорошо, если только это правда, это очень важно, и хотя, повторяю, страхъ «отцовъ» имѣетъ свои основанія,—было бы гораздо хуже, если бы дѣти соглашались на все «безъ провѣрки».

Программа молодого общества (не знаю, какъ оно велико), намѣченные вопросы, темы рефератовъ и даже сами рефераты—въ сущности ничего «ужаснаго» не представляютъ. Напримѣръ, вопросъ о націонализмѣ только фарисейскому сердцу Меньшикова могъ показаться «предѣломъ разврата»; вѣдь онъ даже завопилъ: «домъ горитъ»! Съ его дубровинско-союзной точки зрѣнія, конечно, «развратъ», что «мальчишки» разсуждаютъ о націонализмѣ вообще, да еще о Россіи въ частности. А между тѣмъ сама постановка вопроса у «мальчиковъ» даже и не особенно нова. Къ рѣшеніямъ окончательнымъ они не приходятъ, но спрашиваютъ: «не есть ли назначеніе Россіи—погибнуть, сказавъ свое новое слово міру?»

Это лишь одна изъ варіацій опредѣленія Россіи, какъ «народа-богоносца». Помнится, не разъ поставленный такимъ образомъ вопросъ проскальзывалъ въ литературѣ. Самъ Достоевскій могъ бы, пожалуй, счесть его ересью, но никакъ не развратомъ. Даже если рѣшить этотъ вопросъ утвердительно, то мораль, изъ такого рѣшенія вытекающая, еще не будетъ моралью голаго разрушенія: вѣдь надо же думать и о созданіи «новаго слова», сказавъ которое, должна «погибнуть» Россія.

Это частный примѣръ, конечно, но не думаю, чтобы и другіе общественные вопросы ставились молодыми кружками въ какомъ-нибудь болѣе «страшномъ» видѣ... Отношенія пола и семейныя, общепризнанные законы этическіе обсуждаются въ молодыхъ кружкахъ съ наибольшимъ вниманіемъ. Члены ихъ признаются: «что бы мы ни обсуждали, мы всего чаще сбивались на вопросы половой морали». И прибавляетъ, подтверждая сказанное мною выше: «ужъ объ этомъ-то съ отцомъ никакъ нельзя говорить. Сейчасъ же уйдетъ, хлопнувъ дверью». Да, но не слѣдуетъ за это осуждать отца, а помнить, что такъ оно и должно быть.

Вопросы половой морали и, тѣсно связанные съ ней, вопросы морали вообще—самая острая, но, конечно, и самая опасная для молодежи точка. Положеніе трудное: ни съ отцами говорить нельзя, ни тѣсно между собою ничего тутъ рѣшить нельзя. Какъ не придти людямъ, полнымъ юношеской смѣлости, неустойчивымъ, не имѣющимъ, конечно, даже серьезной философской подготовки, къ легкому выводу: «не нужно никакой морали». Имъ преподносятъ готовые нравственные законы, общіе, большею частью безличные, базированные на чувствахъ стихійно-родовыхъ, зачастую дѣйствительно непріемлемыхъ. На коренной ихъ пересмотръ, на отдѣленіе въ

нихъ вѣчнаго отъ ветхаго—не у всѣхъ еще есть силы и средства. Какъ легко тутъ крикнуть: «долой старую мораль. Не надо никакой морали. Все позволено!»

«Мы, подростки, страдаемъ гипертрофіей *послѣдовательности*», чуть-чуть хвастливо заявляетъ одинъ изъ членовъ молодого кружка. «Можетъ быть, наша послѣдовательность есть общее свойство молодости, можетъ быть, она привита математикой и чистыми науками, но во всякомъ случаѣ она спасаетъ насъ отъ противнаго лицемѣрія и фарисейства».

О, да, спасала бы, существуй она дѣйствительно,—и не только отъ фарисейства и лицемѣрія (кто сомнѣвается въ искренности большинства молодежи?), а еще отъ многаго и многаго. Но авторъ приведенной цитаты неумышленно льститъ себѣ и своимъ единомышленникамъ: послѣдовательности-то какъ разъ у нихъ и нехватаетъ. Вотъ это «долой старую мораль! Не надо никакой морали!»—и оно уже недостаточно послѣдовательно. Изъ того положенія, что плоха, непріемлема *старая* этика—еще нельзя вывести, что плоха и непріемлема *всякая*. Кромѣ того, это произвольное, хотя тоже догматическое, *отрицаніе* напрасно противополагаютъ прежнему—всетаки *утвержденію*. Ни одинъ положительный догматъ, какъ бы онъ ни былъ старъ, не можетъ быть побѣжденъ голымъ его отрицаніемъ. Новый а-морализмъ безсиленъ передъ старой моралью. Онъ ее не разрушитъ, даже не поколеблетъ. А-морализмъ, собственно, никакого и отношенія не имѣетъ къ морали, къ старой, къ новой,—къ какой угодно. Мораль, въ самомъ точномъ смыслѣ, непремѣнно дѣло лично-общественное. Дѣло отношеній моего «я» съ другими людьми, съ міромъ,—съ «не-я». Въ какой мѣрѣ преобладаетъ начало стихійно-безличное надъ личнымъ въ старой морали,—это другой вопросъ. Такъ или иначе, но она не вполнѣ, не сплошь только безлична. А-морализмъ же вполнѣ и только личенъ, безъ потенціи общаго, общности. Формула «все позволено», провозглашеніе «все всѣмъ позволено»—чистѣйшій абсурдъ. Самое слово «позволено», (кѣмъ?)—уже не вяжется съ понятіемъ а-морализма. А-морализмъ, отрицая мораль, отрицаетъ, если онъ послѣдователенъ, всякое отношеніе моего «я» къ «не-я», т.-е. отрицаетъ «не-я». А-морализма, въ противоположность морализму, не существуетъ. Есть а-моралисты. Провозглашать, что «все всѣмъ позволено», въ видѣ «новаго закона», говорить: «пусть будетъ отнынѣ все всѣмъ позволено»—это значитъ, въ сущности, играть на звукахъ. Даже не а-моралисты есть, но а-моралистъ. Свое чувство, или ощущеніе, или убѣжденіе онъ могъ бы выразить, самое большее, въ такихъ словахъ: «я намѣренъ поступать каждый разъ такъ, какъ на этотъ разъ мнѣ будетъ хотѣться». И только. Онъ можетъ и этого не объявлять, совсѣмъ не выражать своего чувства. Никому до него никакого внутренняго дѣла нѣтъ, такъ же какъ и ему нѣтъ ни до кого, даже до рядомъ стоящаго, другого а-моралиста.

Это самые отвлеченные люди въ мірѣ, а-моралисты. Вступая въ реальную жизнь, они тотчасъ же сталкиваются фактически съ «не-я», котораго

не признаютъ, а потому немедленно вступаютъ въ компромиссъ со своимъ убѣжденіемъ. Измѣняютъ ему, не исполняютъ принятаго намѣренія «поступать каждый разъ такъ, какъ захочется». Реальное «не-я» то и дѣло мѣшаетъ, и не только «каждый разъ», а, можетъ быть, изъ десяти въ одинъ едва удается а-моралисту поступить по «хочется». И живетъ онъ всетаки по морали, по какой-то «линіи поведенія», не по своей, правда, но по чужой, а это, пожалуй, еще хуже. Теорія его отвлеченна, къ жизни неприложима,—и онъ живетъ... по случаю. А-моралисту, этому крайнему, предѣльному индивидуалисту, чтобы быть до конца послѣдовательнымъ, надо застрѣлиться. Вотъ логическій выводъ.

Молодые члены кружка могутъ возразить мнѣ: но мы вовсе не желаемъ доходить до конца. Мы только не хотимъ никакихъ запрещеній, мы не даемъ никакихъ обѣщаній, но мы желаемъ «prendre notre bien où nous le trouvons». Мы согласны жить «по случаю».

Если такъ—дѣло другое. Но если такъ—не стоило и говорить о послѣдовательности. «Честные», послѣдовательные а-моралисты должны, какъ мы видѣли, неминуемо придти къ самоубійству или къ абсурду. Что же сказать о «нечестныхъ», о тѣхъ, кто останавливается на полдорогѣ, исповѣдуя: «nous prenons notre bien où nous le trouvons?» Что—они?

Да они совсѣмъ не а-моралисты. Фактически—это дѣти, вполнѣ похожія на отцовъ, не ушедшія ни на шагъ, ни на одну пядь впередъ. Неужели секретъ, что лозунгъ, громко произносимый теперь дѣтьми «prendre son bien» и т. д.—былъ всегда главнымъ—сердечнымъ и тайнымъ—лозунгомъ и «отцовъ»? Они при этомъ морализируютъ, дѣти а-морализируютъ, но не все ли равно? Дѣти говорятъ, что хотятъ дѣлать, какъ жить,—отцы совершенно такъ же дѣлали и жили, но молчали.

Вся разница къ этому только и сводится. Было общее старое правило—скрывать, теперь новое общее правило—не скрывать. И еще надо вникнуть въ смыслъ обоихъ правилъ, прежде чѣмъ предпочесть которое-нибудь.

Вѣчные, истинно человѣческіе, нравственные законы въ той же мѣрѣ далеки отъ сознанія дѣтей, какъ были отъ сознанія отцовъ. Ничего новаго дѣти пока не открыли. Но они обнажили старое, тайное. Что это значитъ? Лицемѣріе, ложь—разрушены. Да, но въ старомъ прикрываніи не было ли, кромѣ дурного лицемѣрія—хорошаго стыда? Не было ли подсознательнаго чувства, что существуетъ какая-то настоящая нравственность, истинные ея законы, которымъ жизнь не соотвѣтствуетъ? Все равно чѣмъ—но надо прикрыть это несоотвѣтствіе, затаить... У дѣтей же нѣтъ стыда. Значитъ ли это, что они не чувствуютъ несоотвѣтствія, внутренней дисгармоніи между своими желаніями и своею жизнью? У нихъ нѣтъ стыда. А что, если эта потеря стыда, это обнаженіе и заголеніе,—послѣднее заголеніе покойничковъ Достоевскаго въ разсказѣ «Бобокъ»?

«Ахъ, какъ интересно, ахъ, давайте ничего не стыдиться. Когда же мы начнемъ не стыдиться?» Покойничкамъ нечего было терять, все равно

черезъ два-три мѣсяца имъ предстояло «уснуть» уже навѣки, а «послѣднимъ милосердіемъ» они воспользоваться не желали...

Неужели у нашей юности, у новыхъ а-моралистовъ, у членовъ «молодого кружка»—та же покойницкая психологія? Страшныя мысли...

Но онѣ несправедливы, слава Богу.

Вѣдь самый а-морализмъ—только легкая струя этого теченія. Вѣроятно, въ литературѣ она ярче, нежели въ самой жизни. Нѣтъ никакихъ рѣшеній, никакихъ еще отвѣтовъ у молодежи: только вопросы, и вопросы важные, настоящіе, остро поставленные...

Главнѣйшій признакъ того, что наша молодость дѣйствительно живетъ, дѣйствительно смотритъ дальше отцовъ и можетъ создать новые устои жизни, это—ея страданіе. Покойнички въ Бобкѣ нимало не страдали, до крайности были довольны собою и своимъ положеніемъ. А я врядъ ли ошибусь, предположивъ, что всѣ, сплошь, за немногими исключеніями, всѣ выросшія «дѣти» нашихъ дней—переживаютъ безпримѣрно-глубокую трагедію личности; рѣдкая изъ этихъ трагедій видна: сколько ихъ такъ и кончается въ подпольи! И, конечно, это не только трагедія «о личности», это общій трагическій узелъ, завязывающійся пока только въ личности, и съ которымъ одинокая, не дошедшая до своего полнаго развитія личность часто не можетъ справиться. Однородное, схожее страданіе у многихъ, хотя каждый изъ этихъ многихъ еще одинокъ. Подлинное страданіе у автора «Антихриста», подлинная мука у сочиненнаго, будто бы, студента въ «Запискахъ друга». И страданье воистину смертное. «Записки» выдуманы, студентъ не застрѣлился... а мы, вотъ, знаемъ же, чувствуемъ, что онъ застрѣлился, и сейчасъ стрѣляется, самымъ дѣйствительнымъ и реальнымъ образомъ, въ комнатѣ четвертаго этажа, на Забалканскомъ, ходъ со двора... И еще кромѣ него, въ Харьковѣ, гимназистъ четвертаго класса, сынъ достаточныхъ родителей... И еще—да что ихъ называть! Завтра въ газетѣ прочтемъ краткое сообщеніе, если попадется на глаза.

«А попечитель учебнаго округа даже не знаетъ о невѣроятномъ количествѣ самоубійствъ среди молодежи». Такой до грубости наивной фразой обмолвился недавно одинъ изъ членовъ «молодого кружка». Ужъ не иронія ли это? Причемъ тутъ попечитель? Если бы все дѣло было въ томъ, что педагогическое начальство плохо—то, ей-Богу, не стоило бы все это ни серьезнаго вниманія, ни разговоровъ. Оставляю вышеприведенную фразу на совѣсти автора.

Нѣтъ, дѣло касается не столько министерства народнаго просвѣщенія, сколько всѣхъ думающихъ и чувствующихъ людей нашего переломнаго времени. Вопросы, которые съ такой мукой, съ такой новой остротой встаютъ передъ молодежью, вѣчные, неразрѣшенные—но непремѣнно разрѣшаемые каждымъ временемъ въ мѣру общаго сознанія. Подрастающее поколѣніе, юность, предоставленная себѣ одной, съ ними не справится. Они ее задавятъ.

Гдѣ же люди? Не отцы только, но люди, личности? Чѣмъ они заняты? Какими «дѣлами»? Внѣшней культурной постепеновщиной? Или безъидейной наукой? Или внѣ-идейной революціей? Или просто спятъ?

Увы, безумцы! «Домъ горитъ», но не тотъ, гдѣ живутъ молодые, а ихъ. И даже не горитъ, а тлѣетъ; даже не тлѣетъ, а просто гніетъ. Но рухнетъ непремѣнно.

Все, что живетъ внѣ живыхъ мыслей—обречено на разрушеніе, обращено къ прошлому. Внѣ мыслей—или, какъ говорили прежде, внѣ идей,—нѣтъ движенія исторіи, движенія истинной культуры.

Страданья, ошибки, борьба юнаго поколѣнія нашего обращены къ будущему,—потому что это страданья живыхъ людей и трепетъ живыхъ мыслей.

З. Гиппіусъ.